



ЮНОСТЬ

10
1973



ОКНО
В МИР
ПРЕКРАСНОГО



ИРАКЛИЙ
АНДРОНИКОВ

РИМСКАЯ ОПЕРА

Дружеский шарж А. ЖИТОМИРСКОГО.

Pечь пойдет о поездке в Италию, когда во Флоренции должен был состояться конгресс «Европейского сообщества писателей» и большой группе советских литераторов поручено было представлять на этом конгрессе нашу страну. Чтобы быть точным, скажу: в Италию ехала не одна группа, а две. Одна — числом поменее, шесть человек — оформлялась как официальная делегация и ехала за государственный счет. Другая — числом поболее, десять человек — составляла туристскую группу и, естественно, ехала за свой собственный счет. Но по прибытии во Флоренцию участники туристской поездки не только могли, но должны были выступать на конгрессе, а затем, уже в Риме, участвовать в беседах за «круглым столом» с итальянскими литераторами.

Я попал во вторую группу.

Группа была отличная! Довольно сказать, что в нее входил Виктор Борисович Шкловский — историк и теоретик литературы, прозаик, критик, киносценарист, эссеист... Трудно вспомнить сейчас, в каких жанрах он не работал! Только стихов не писал, это правда! Человек бесконечно талантливый, неожиданный в ходе мысли, оригинальный, умный и острый. Со своим, очень своеобразным стилем и в разговоре и в книгах. Уже давно пожилой, но полный энергии, живых интересов, очень контактный, добрый, неприхотливый. В таких поездках с ним очень легко и просто... Нет, группа была прекрасная!

Когда мы узнали, что едем в Италию, то, посоветовавшись, решили немножко дополнить наш туристский маршрут. Мы писатели. И в Милан нас не возят. Туда возят музыкантов, певцов. А нам тоже хотелось побывать хотя бы денек в Милане, а вечером — на спектакле «Ла Скала». В ту пору этот театр в Москве еще не бывал, и впечатления, которые мы жаждали получить, были бы, конечно, еще новей и острей, чем сегодня.

Предложен был план: я от имени группы иду в «Интурист» и прошу, чтобы здесь, в Москве, от нас приняли дополнительную сумму в рублях, а чтобы он, «Интурист», договорился с итальянской туристической фирмой о том, чтобы она внесла в наш маршрут Милан и «Ла Скалу». Расчет был на то, что я сумею заговорить сотрудников «Интуриста».

Я взялся за это дело и лично считаю, что выполнил его довольно успешно. Через десять минут после появления моего в «Интуристе» по телефону стали отвечать: «Позвоните через двадцать минут, идет заседание». А к концу дня договорились с Италией: мы вносим в Москву нужную сумму в рублях, а фирма включила в нашу программу Милан и оперу «Тоска» с участием Марии Каллас, Джузеппе ди Стефано и Тито Гобби. Но так случилось, что выезд задержался, и, хотя на конгресс все-таки успели, «Ла Скала» в Милане благополучно попала без нас.

Не стану распространяться о том, каков был конгресс, скажу только, что он был представительным и посвящен важной теме «Литература в ее связях с кинематографом и радиотелевидением». И оттого, что телевидение представляет новейший способ общения людей, все выступавшие так или иначе касались телевизионных проблем.

Точки зрения совпадали далеко не во всем. Многие из наших зарубежных коллег жаловались, что телевизор превращает читателя в зрителя, а это катастрофически оказывается на тиражах книг. Писателю становится жить все труднее. Он не нашел места на телевидении, за исключением тех, кто пишет сценарии многосерийных фильмов. Популярность писателя падает.

Мы отвечали, что у нас есть свои сложности, но в нашей стране с каждым годом читают не меньше,

а больше. И, кажется, ни один писатель не говорил, что телевидение лишает его популярности. Напротив, популярность растет. Потом, через несколько лет, «Сообщество» это распалось. Но вернемся к конгрессу!

Тут надо упомянуть про одну подробность.

Когда группу советских литераторов избрали членами «Европейского сообщества писателей», нас пригласили в Москве в нашу писательскую Иностранную комиссию и, пожимая нам руки, вручили маленькие книжечки без «начинки», в сафьяновых переплетиках. На обороте лицевой корочки напечатано было, что член «Сообщества» имеет право бесплатного посещения итальянских библиотек и музеев. В Москву мы не очень оценили эти права. И даже кто-то из нас в шутку сказал тогда: «Я не пойду сегодня обедать в Центральный дом литератора. Я тороплюсь в Болонью, хочу прочесть бесплатно сегодняшнюю «Литературку». Острили. Но когда подошло время отъезда, поняли, что книжечка эта крайне полезная вещь.

И вот Флоренция. В Палаццо Веккио идет заседание конгресса. А шесть шагов отступа от этого здания, отделенная узенькой уличкой, — галерея Уффици, флорентийский Эрмитаж. Сергей Антонов пробирается по рядам и мигает мне.

— Ты уже был в галерее Уффици?

— Не успел.

— Слушай, пока бормочет этот толстяк, пойдем в Уффици: на двадцать минут, покажем вот эти книжки... Пропускают сколько угодно раз. Я уже был. Постоим у картин Боттичелли.

Проходим бесплатно в галерее Уффици, любуемся полотнами Боттичелли. Через двадцать минут возвращаемся. Объявляют имя Алексея Суркова. Великолепная речь! Оживление, аплодисменты. Объявляют зарубежное имя. Речь интересная. Аплодисменты. Объявляют перерыв на полчаса для пития ликеров и кофе. Даниил Гранин подходит:

— Ты в галерее Уффици Боттичелли найдешь? Только возьмем с собой Казакевича...

И надо сказать, много хорошего увидели мы с этими книжечками. По нескользкому раз забегали в Уффици. А другие музеи! Сергей Антонов, самый из нас методичный, трудолюбивый, серьезный (не говоря о таланте!), умудрялся ходить по музеям до завтрака, между завтраком и утренним заседанием, во время перерывов, до обеда, после обеда и даже во время вечернего заседания, не пропуская при этом ничего важного на конгрессе. Понятно, что он успел осмотреть чуть ли не половину флорентийских музеев! Я говорю «чуть ли не половину», потому что во Флоренции несколько десятков музеев, и для того, чтобы их осмотреть, мало книжечки. Нужно иметь много свободного времени и крепкие ноги.

Но все имеет конец, закрылся конгресс, мы снова распались на две группы. Старшую группу еще до Рима куда-то должны были повезти. А нас посадили в автобус и повезли прямо в Рим. Там с нашими друзьями мы должны были жить в разных гостиницах, а встречаться только за «круглым столом» во время бесед с итальянскими литераторами.

В то время транситальянская автомобильная трасса еще не была готова. Ехали мы по старой Римской дороге, через Ареццо, Перуджу, Ассизи — замечательные итальянские городки; останавливались, осматривали неторопливо великую архитектуру Возрождения, гениальные фрески. Все, что ты знал об Италии прежде, оживало и «становилось на свое место».

Ехали мы целый день, в Рим прибыли поздно, разместились в «Альберго имперо». Я попал в один номер с Эммануилом Генриховичем Казакевичем.

Мало сказать, что это был человек замечательного таланта, с глубоким философским взглядом на мир. Нет, это писатель какого-то особого склада — лирик, очень глубокий, музыкальный, пластичный... Когда он задумывался, лицо его приобретало строгое, почти суровое выражение. При этом он был одним из самых веселых людей, каких я когда-либо знал. Остроумный, с тонкой выдумкой, он не чурался самых незамысловатых шуток и каламбуров. В нем не было ничего от тех остряков, которые сами смешат помимо этого, а на шутку другого даже не улыбнутся. Казакевич, если только можно было из вежливости скривить губы, чтобы не обидеть бедного юмором, за-кыдал голову и хохотал громче всех.

По дороге, в автобусе, где, кроме нас и нашего провожатого, посторонних никого не было, кто-то предложил делить слова так, чтобы получились подобия имен и фамилий. Прямо скажем: незатейливая игра! Берется слово, ну хотя бы фамилия Веневитинов. Рассечь — получается Веня Витинов. Или фамилия Бенедиктов: Беня Диктов.

Все сочиняли. Я не мог выдумать ничего.

Казакевич ко мне подходил.

— Как, вы еще ничего не придумали? Это позор! Вы же профессиональный писатель. Неужели вы не можете сочинить каламбур?

У меня ничего не выходило.

Казакевич строго шептал:

— Мне за вас неловко перед товарищами! Хотите, я подарю вам свое, а вы скажете, что наконец сочинили?

Я понимал, что он шутит, и все же невыносимо страдал.

Казакевич подходил снова.

— Не выдумали? Я дарю вам первоклассную вещь: велосипед — Василиса Пед!..

...Как-то раз, уже в Риме, я предложил ему совершить ночную прогулку. Он отказался: устал. Я пошел с Граниным и Антоновым. Ходили мы, наверно, часа три. Долго стояли возле знаменитого Колизея.

Когда я, стараясь не разбудить Казакевича, тихонько вошел в нашу комнату, он, не открыв глаз, спросил:

— Что вы так долго?

— Как жаль, что вы не пошли! Прогулка была изумительная!

— Вам кто-нибудь встретился по дороге?

Я поднапрягся и сказал:

— Да.

— Кто?

— Коля Зей.

Казакевич открыл глаза и быстро сел в постели.

— Вы сами это придумали?

— Ну а кто же!

— Я проверю. Он был один?

Я напряг мозги до последней возможности и сказал:

— Нет, с ним была целая рота Зеев.

Казакевич выдохнул и повалился навзничь.

— Вы не можете представить себе, как вы меня обрадовали! Я просто страдал оттого, что в этой игре вы оказались такой бездарностью!

Но это было потом, через несколько дней. А в ту ночь, когда мы приехали, мы рассказывали друг другу разные истории и так хохотали, что швед, живший за стенкой, прислал сказать, что он сделал попытку заснуть, но она окончилась неудачей.

— Заснет с третьей попытки, — сказал Казакевич мне. — Но за это медаль не дадут.

Шведу мы обещали шуметь потише. Но вскоре забыли о нем. Заснули под утро.

Спали недолго. Вскочили. Открывая я складные ставни этого старенького отеля, высунулся в окно... Боже мой! Под окном — римская опера!

Я поскорее оделся и побежал смотреть, что идет. Первый плакат возвещал, что во вторник представлена будет опера Рихарда Вагнера «Моряк-скита́лец» в исполнении Байрейтской труппы (ФРГ). Цены повышенные.

Конечно, хорошо было бы послушать оперу Вагнера в исполнении именно Байрейтской труппы, которая до сих пор, с вагнеровских времен, считается лучшим интерпретатором музыки Вагнера. Но приехать в Италию и пойти слушать немецкую оперу, на немецком языке, в исполнении немецких артистов! Словно в Италии нет своей музыки! К тому же и цены повышенные...

Я перешел к другому плакату, на котором было означено, что в четверг будет исполнена опера Рихарда Штрауса «Розенкавалиер» — «Кавалер роз» в исполнении Байрейтской труппы. Цены повышенные.

По тем же соображениям я перешел к третьему объявлению, которое гласило о том, что в воскресенье в пять часов дня пойдет опера Умберто Джордано «Андре Шенье» с участием Марио дель Монако. Цены обыкновенные.

Я пошел узнать, сколько стоит билет. Мне пояснили, что среднего качества билет стоит четыре тысячи лир. В моем кармане к этому времени оставалось пять с половиной тысяч. Не будем обольщаться трех склон этого слова: тысячи. По курсу того дня пять с половиной тысяч равнялись девяти рублям. Я не стал покупать билеты, а воротился в гостиницу.

Наши завтракали.

Я спросил:

— Кто пойдет со мной в римскую оперу?
Все перестали есть. Виктор Борисович Шкловский спросил:

— Что идет?

Я сказал:

— Идет опера Джордано «Андре Шенье». Поет Монако.

— Мы не знаем, что за опера. Объясни подробно.

Я сказал:

— Джордано умер сравнительно недавно — в 1948 году. Но принадлежал к той группе итальянских композиторов-веристов начала века, которую возглавляли Пуччини, Леонкавалло... По сравнению с ними Джордано так себе, послабее. Но неплохой. У нас опера эта не шла, я знаю отдельные номера, в записях.

Шкловский, набирая силу звука и уже горячясь, сказал отрывисто:

— Уговорил! Не пойдем! Не пойдем слушать «так себе». Слушай сам. А нас оставь. Я в Москве никогда не бываю в Большом театре. Мне не с чем сравнивать. И вообще ты живешь неправильно. Мы приехали в другую страну, хотим видеть ее народ, слышать его дыхание, видеть движение толпы, слушать речь, которой не понимаем. А ты нас ведешь в театр, где на непонятном языке поют французскую революцию. Мы поэзию Андре Шенье знаем лучше, чем дирижер. Иди сам! И не уговаривай! На какие деньги ты собрался в театр?.. Ай-ай! Деньги не наши, но все-таки надо подумать. Я не предлагаю тебе бараболничать, но в Москве у тебя есть семья, и по возвращении тебе надо будет доказывать, что ты о ней иногда вспоминал! Делай, как знаешь. Мы не пойдем. В этот день мы заняты! Мы поедем смотреть, как римский папа будет выезжать из Ватикана в церковь святого Джузеппе.

Я сказал:

— Вы много его увидите, папу.

— Откуда ты знаешь? Ты здесь не бывал.

— Я не знаю, а думаю.

— Что ты думаешь?

— Думаю, что папа не будет останавливаться, чтобы с вами поговорить. Промелькнет в машине, и все.

— Аха! Значит, ты говоришь, что нам не будут показывать папу? Все равно поедем смотреть, как нам не будут показывать папу.

Я подумал: «Не хотят? Не надо. Но я же должен был предложить?» Кстати, я тоже мог посмотреть на выезд папы: папа выезжал в половине четвертого, а опера начиналась в пять. И когда в воскресенье нашим подали огромный автобус, я первым в этот автобус залез.

Приехали к собору святого Петра. Вся левая стена площади запружена огромной толпой, но сквозь тесноту проложен был коридор, в котором на мотороллерах сидели те, кто составлял эскорта папы, готовый ринуться по первому знаку. Дрожали рули в руках, завивался бензиновый дым. Было очень холодно, очень ветрено, шел сухой снег. Время мое подошло. И вместе с гидом, очень милой женщиной, мы сели в тот же автобус и отправились к опере. Прошли сквозь толпу в вестибюль. Постучали в оконечко. Билета, который фирма должна была заказать на мое имя, нет. Над кассой табличка — аншлаг.

Разыскали администратора. Гид рассказала, что я «совиетико» и «скритторе» — писатель, имею отношение к музыке, выступал в филармонии в Ленинграде (тут уже все былопущено в ход). Администратор, не вынимая левой руки из кармана, протянул мне талон. Я прильнул к окошечку кассы и приобрел билет в бельэтаж, в боковую ложу... за пять с половиной тысяч лир! Гид простила со мной. Я вступил в коридоры театра, не в силах понять:

Поэт Монако.
Пора начинать спектакль.
Билетов нет.
Публики тоже нет.

Только в первых рядах партера сидели пожилые длинноспинные иностранки в мехах, с биноклями и программками. Немного скучающих лиц дождалось начала — в ложах, на балконах, на галерее. Свет еще не погас — из оркестровой ямы всплыл дирижер. По случаю дневного спектакля не пластрон с белым бантом, а галстук. Хотя черный фрак, но серые брюки. Постучал палочкой. Стало темно. Увертюра пошла... Поплыл занавес.

До конца первого акта знаменитых дуэтов и арий нет. Так кто же станет спешить к началу! Но я же про это не знал! Те, кто пел, хорошо пели. Но все же мысль, правильно ли я поместили свои капиталы, несколько меня беспокоила. И, слушая оперу, я размышлял в то же время о том, как представить нашим в гостинице свою, как говорили в XVIII веке, конфузию, как несомненную, как говорили в том же XVIII веке, викторию. Но подобные размышления могли меня занимать только по той причине, что я не бывал в Италии.

Перед концом первого акта — знаменитая «Импровизация» Андре Шенье. Монако спел ее прекрасно. Зрительный зал чуть не лопнул от бури восторга... Зажегся свет, я глянул!!!...

Театр был переполнен так, что галереи, балконы и ложи гнулись! Все вывешивалось, как виноградные грозди через садовую стену на романтическом полотне. В зале стало тепло, душисто, торжественно, радостно, возбужденно!

Пошел второй акт. Я-то думал, что Марио дель Монако будет лучшим! Не был он лучшим! Другие были не хуже!

В этом спектакле пел знаменитый современный баритон Джанджакомо Гуэльфи — высокий, слегка полнеющий красавец. Тот самый Гуэльфи, который позже в составе миланской труппы приезжал к нам в Москву, провел на репетиции первый акт «Лючии ди Ламмермур», охрип и, не спев ни одного спектакля, улетел обратно в Италию. Но в Риме-то он не

охрип! Там он пел во всю широту и во всю красоту своего голоса! Да как пел! Как играл, посмотрели бы! Он расхаживал по сцене с непринужденностью и свободой, с какой другому не пройти по собственной комнате. Он исполнял партию благородного соперника Андре Шенье — Жерара. Оба любят одну. А для нее жизни нет без Шенье. И она умрет в тот самый час, когда узнает о его казни.

Гуэльфи ходил, стоял, жестикулировал, совсем как те итальянцы, что теснились у входа. Но именно потому, что он был так раскован, это был совершенно достоверный герой времен Великой французской революции. Мне кажется, образ получался таким живым оттого, что из-за Жерара выглядывал краешек самого Гуэльфи. Так бывает, когда изображение на克莱ивается на паспарту и сразу становится живее, параднее, начинает казаться выпуклым. А кроме того, если подумать: ведь не мешает нам, когда мы читаем роман, следить за тем, как автор пересказывает мысли своих героев, тогда как никто не может знать этих мыслей, потому что герой никогда не высказывал их. И нам это не мешает, а помогает. Мы верим в эту условность, принимаем ее. Мало того, в романе едва ли не самое интересное не поступки героев, а то, что думают о них автор. Вот так же интересно было наблюдать, как из-за «кромки» Жерара выглядывал чуть-чуть сам Гуэльфи. Он был обра-зом. И в то же время автором этого образа.

Во втором акте арию какой-то скорбной старухи исполнила молодая певица. Чудный голос, хорошо пела, в программке было указано, что это дебют. И зал высоко оценил ее. Ее вызывали на «бис». И долгие ровные аплодисменты говорили о том, что ее сценическая судьба решена.

Счастье изображалось в ее глазах, она низко кланялась, улыбалась, стали забавными нарисованные морщины — они уже не могли соответствовать улыбкам и всему поведению ее молодого лица.

Гуэльфи стоял, подбочняясь, и очень довольный смотрел на ее поклоны, пока не решил, что пора двигать спектакль дальше. Тогда мягким и властным движением руки он выпроводил ее со сцены (это был благородный Жерар). И слегка потрепал по плечу: «Молодец, хорошо спела». (Это уже Гуэльфи.)

Трудно предположить, что и этому помогал режиссер. Не сомневаюсь, что живые итальянские позы, и жесты, и свобода, с какой он держался на сцене, были импровизацией, шли от собственной инициативы Гуэльфи. Но так достоверно выражал он XVIII век потому, что где-то оставался итальянцем XX. Ибо, играя, не реконструкцию создавал, а скорей ретроспекцию — взгляд из XX в конец позапрошлого века.

Но все это было, покуда шли сцены. Когда же дело дошло до арии, Гуэльфи вышел на авансцену, встал против дирижера и начал работу.

И вот совершенно так же, как скрипач, который прижимает к подбородку свой инструмент, и слияется с ним, и закрывает глаза, и тянется за смычком, он ставит лакированную туфлю на «полуносок»... И мы понимаем, что он работает! И нам не мешают эти телодвижения, а помогают!..

Так же, как виолончелист кренится над своим инструментом, и выкусывает губы, и раскачивает головой, словно конь, везущий в гору тяжелую кладь, и весь уходит в звук, который еще не родился. И мы наблюдаем самый процесс рождения музыки, как бы соучаствуя в нем и понимаем, что музыкант работает!..

Вот так же работал этот певец!

Когда ему надо было опереть звук, он приподнимал плечи и чуть-чуть откидывался... И зал тоже откидывался.

Когда он исполнял распевные фразы, он и руками пел, «пассирия» ими. И зал следил за его руками и шевелился.

Когда ему предстояла высокая нота, он принимал позу, словно собирался выжимать тяжесть. А получалось легко. И зал вместе с ним безмолвно брал эту тяжесть и ликовал.

Когда же дело дошло до последней — мощной «героической» ноты (кажется, это было верхнее ля) что началось тут, того описать не можно!..

На всякую реакцию потребна хотя бы доля секунды! Не было здесь этой доли! Когда певец сомкнул губы, театр взорвался. И рухнул! Рухнул стена аплодисментов, восторга, радости, благодарности, выкрикивая имя Гузельфи. И гремел до того мига, когда палочка поднялась... И тут на оркестр, на сцену обрушилась внезапная тишина! Словно зал выключили, как выключают свет. Никаких аплодисментов, означающих: «Не хотим слушать ваших, подайте нашего!» и «Вернись назад!», «Повтори!» — ничего этого не было! Все в тот же миг ушли в действие оперы. И могло показаться, что дирижер выполнил страстное желание зала.

Но когда перед последним актом дирижер поднял оркестр «на бенефис» и прожектор выхватил его фигуру из темноты, ему выкрикивали из зала неудовольствия за то, что не давал «бисов».

Певица Антониетта Стелла — золотоволосая, кареглазая, высокая, с тоненькой шеей, с тоненькой талией, плечеобразная, бюстобразная, необычайно подвижная, легкая. Исполняет трагическую роль, кажется, что на глазах слезы. И в то же время видно, как ей нравится петь! И что это не только спектакль, но и концерт. И не только концерт, но и блестящее состязание, от которого в выигрыше решительно все — и артисты и публика. И оттого, что мы видим на сцене мрачные своды тюрьмы, впечатление не меньше, а больше!. А голос какой у нее — какое сопрано! Но когда звучали низы, это было уже не сопрано, а какой-то сладостный вопль. И казалось, зал от наслаждения темнел, словно был плюшевый и его погладили против ворса.

Не подумайте, что я хочу умалить искусство дель Монако. Он пел прекрасно и прекрасно играл. И выглядел авантажно: в белой рубашке, перепоясанном цветным шарфом, на каблуках. Но вот казалось, он заранее знает, как он споет и как сыграет Шене. А эти?!

Впечатление было такое, что они и сами не знали, как это все получается. Но знали, что будет прекрасно. Так бывает во сне. Еще не знаешь, что за музыка будет, а знаешь, что будет, — согласная, самая нежная, именно та, которой ты никогда не слыхал, но мечтаешь услышать.

Да, трудно было поверить, что в этой импровизации участвовал режиссер. А он, разумеется, был.

Конечно, после того, как «Ла Скала» приезжала в Москву, можно сказать, что мы видели и слышали итальянскую оперу. Но мне думается, что мы видели и слышали ее только наполовину. Мы видели и слышали, что происходит на сцене. Но не видели итальянской публики. А то, что происходит в зале, стоит того, что происходит на сцене. А все потому, что весь зал — это те же Гузельфи, которым природа не дала его голоса. И воспринимают они Гузельфи так, словно он сдает им экзамен. А это оценка особая — суждение знатоков, которые воспринимают не только в целом («хорошо пел!»), а упираются каждым звуком, каждым вокальным приемом своих любимцев.

«Так себе» оказалось прекрасной оперой!.. Да что говорить! Здорово было! Я вспомнил, как школьником после спектакля дожидался у артистического

подъезда тбилисской оперы выхода знаменитых певцов, чтобы получше их рассмотреть...

Но, сообразив свои лета и положение, медленным шагом воротился в гостиницу.

Наши ужинали. Шкловский спросил:

— Ну как?

— Замечательно!

— Расскажи.

Я рассказал. Шкловский загорелся, заволновался:

— Ты правильно сделал, что не послушал нас! Мы тебя неверно учили. Ты счастливый. Ты догадался в Италии пойти в оперу. Если бы ты не пошел, тебя в Москве дети прогнали бы из дома. Правильно сделал. Сколько истратил?.. Ай-ай! Много. Но нам не жаль твоих денег, потому что ты хорошо их истратил. Ты выиграл! И не бойся. Ты не один. Нас много — будем брать кофе себе, возьмем и тебе чашку. И даже со сливками. А может, даже и с булочкой. Не горячайся!

Я сказал:

— О каком огорчении ты говоришь? Я очень доволен.

— Ну, тогда и мы счастливы! Нарежем это счастье на порции и раздадим всем, потому что у нас ничего не вышло. Мы папу не видели. Он ездит быстро, и мы его пропустили, а потом не поняли, что толпа не будет ждать его возвращения, и продолжали стоять. Было холодно, и мы чихаем. Ты счастливее нас.

Другие с ним согласились.

А потом об этом забыли. Действительно, важное дело: один из десятерых был в театре! И больше речи об этом не возникало до самого дня отъезда.

Но когда наши чемоданы лежали в вестибюле и автобус стоял у подъезда, чтобы отвезти нас в аэропорт, появился представитель фирмы, которой мы, кажется, ни разу не видели. Он сказал, что дирекция поручила ему передать нам пожелание счастливого путешествия и взять обещание: если мы снова соберемся в Италию, контактироваться только с их фирмой. И ни с какой другой.

— Ваш визит вызвал широкий отклик. Многие газеты поместили сегодня статьи о том, что следует укреплять эти контакты. Пишут о ваших докладах. Очень интересны были дискуссии за «круглым столом». Дирекция приглашает вас приехать на более долгий срок... Нет ли у вас претензий?

Претензий не было.

Он простился, вышел в стеклянную вертящуюся дверь, вернулся в вестибюль и сказал:

— Я совершенно забыл. Мне говорили, что синьор Андроников посетил спектакль римской оперы и приобрел билет за пять с половиной тысяч лир. Фирма желает сохранить с вами добрые отношения и поручила мне вернуть ему эту сумму.

Все оживились:

— А нам?!

Он сказал:

— Спектакль в Милане, который вы рассчитывали посетить, прошел раньше, чем вы приехали. Фирма не считает себя ответственной за то, что вы не попали в Милан. Что же касается синьора Андроникова, он слушал оперу, будучи гостем Италии...

И он вручил мне деньги, которые истратить было уже невозможно. Через двадцать минут мы должны были подняться на борт самолета. И все же я был очень доволен и смеюсь до сих пор, когда вспоминаю эту историю. Видно, законы античной поэтики объективны: добродетель вознаграждается! Ну, а кроме того, я понял уже окончательно, навсегда:

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ МУЗЫКУ, ТО ЛЮБИ!